

НАТАЛИЯ АЙГИ

БОГОМАЗ

Наталия Айги

Богомаз

«Алгоритм»

2007

УДК 82-94
ББК 85.1

Айги Н.

Богомаз / Н. Айги — «Алгоритм», 2007

Замечательный художник из волжского Белого Городка Владимир Маслов – не от мира сего. Его картины чисты, пронизаны светом и тенью, ветрены и смятенны. Искренность, бескорыстие, обнаженность чувств, доброта так полно присущие ему в творчестве и жизни, всегда получали в традициях русской нравственности высочайшую оценку. Настоящая книга представляет собой беллетризованную биографию художника, написанную от лица главного героя его женой Наталией Айги.

УДК 82-94
ББК 85.1

© Айги Н., 2007
© Алгоритм, 2007

Содержание

Рекою волгой возвращенный	6
Детство	9
В светлом уголке	23
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Наталия Айги Богомаз

© Айги Н., 2007

© ООО «Алгоритм-Книга», 2007

* * *

Рекою волгой возвращенный

К знакомству с творчеством живописца Владимира Маслова я шел очень и очень долго. Земляк его по Белому Городку московский художник Валерий Лындин, для благозвучности перекрестивший себя в Лавра и среди столичного андеграунда известный как балагур и служитель Бахуса Лаврушка, много и восторженно рассказывал мне о волжском самородке, одержимом любовью к живописи. «Это тамошний Зверев», – говаривал мне частенько Лавр, не забывая подчеркнуть и родство их душ, объединенное звоном стаканов и любовью к широкому, как Волга, хмельному раздолью. Однажды чуть было не оказались мы в Белом Городке, да, видно, не судьба еще была. Открывал я одну из своих реставрационных выставок в славном городе Угличе и взял с собой на вернисаж известного, ныне уже покойного тбилисского художника Коку Игнатова да приятеля своего Лаврушку. Были мы тогда молодыми, готовыми к повседневному любованию жизнью и бражничеству. После открытия выставки икон музейные девочки, вечная им хвала и честь, спроворили скромный, но от всей души идущий, как бы теперь сказали, фуршет. В запасниках музейных накрыли хранительницы прекрасные столы, уставленные редкими серебряными сосудами XVI – XVII веков, тонким фарфором императорских и частных заводов, и скудное угощение, состоявшее в основном из только что приготовленного на старой угличской сыроварне рокфора, томатного сока да свежего хлеба, превратилось в поистине царскую трапезу. Местную водку, а тогда она всюду, в отличие от нынешнего моря самопальной отравы, была высококачественной, хозяйки налили в старинную братину, вмещающую никак не меньше литра. Но не суждено той братине было пойти по застольному кругу. Лаврушка, первым приложившийся к ритуальному сосуду, трактовал его как индивидуальную чарку и осушил жадным глотком всю братину. Последствия сей молодецкой удали не заставили себя долго ждать. Сказав ярославским дивным художникам-реставраторам все, что он о них несправедливо думает, побежал Лаврушка с крутого обрыва купаться в Волге, забыв, что на дворе февраль. С трудом удержали мы его от моржевания и, не насладившись обществом милых музейщиц и не обсудив насущных проблем с ярославскими умельцами, отправились не солоно хлебавши в уютные покои ведомственной гостиницы Угличского часового завода. Лаврушка сначала бежал перед нами, услаждая разозленных компаньонов так любимым им набором частушек, вытребенок и заготовленных на сей случай стихотворений. Вдруг он на наших глазах словно сквозь землю провалился, и в течение получаса не могли мы его отыскать среди сказочных угличских домиков. Придя в гостиницу долго, не ложились спать, надеясь, что балагур наш вскоре объявится. Прошел час, другой, третий. Позвонил я, тревожась, в местную милицию, и сонный голос дежурного посоветовал мне поискать дружка в вытрезвителе. «Лындин, представившийся Юрием Гагариным, жив, невредим, рассказывает нам сотый анекдот, пьет чай и готовится отойти ко сну. Приходите за своим драгоценным товаром к утру». Имя первого покорителя космоса не все было упомянуто. Друг мой старинный Сергей Вронский, один из лучших русских кинооператоров, снимал фильм «Укрощение огня» про великого ученого Сергея Королева. Несколько месяцев искали они вместе с режиссером исполнителя небольшой, но знаковой для картины роли Первого Космонавта. Кого только не пробовали! И Олега Стриженова, и Олега Видова, и многих других известных актеров. Однажды, зайдя на рюмку водки в мой бункер – творческую мастерскую в одном из полуподвалов в переулке между тогдашними Кропоткинской и Метростроевской улицами, посетовал мне Вронский на незадачу с поисками киношного Гагарина. «Поспорим на ящик водки, что через час герой космоса предстанет перед твоими глазами». Сережа согласился, пожалев меня за предстоящую трату большой суммы денег, ибо уверен был в моем проигрыше. Когда в никогда не закрывающихся дверях бункера появился, озарив всех своей оба-

ятельной улыбкой, Лаврушка, по глазу моего киношного друга понял я, что утверждается обитатель Арбата на роль Гагарина без каких либо проб. Потом были съемки, где руководитель отряда космонавтов и члены съемочной группы, влюбившиеся в Лаврушку, на себе почувствовали, что такое «пить или не пить». К другу моему после выхода на экран пришла всенародная слава. Сколько раз, представляясь братом погибшего Юрия Гагарина, доставал Лавр водку до разрешительных одиннадцати часов утра, помогал мне улететь в кабине летчиков из различных городов, когда даже всеильное начальство не могло предоставить требующихся билетов. Вот и в угличском вытрезвителе, куда мы с Кокой Игнатовым поутру пришли, бедолага подписывал открытку со своим изображением в костюме космонавта, а служители этой неотъемлемой части нашего быта, разинув рты, восхищенно глядели на разболтавшегося актера-любителя. Что, впрочем, не помешало им выставить Лаврушке штраф в двадцать пять рублей, сказав, что получил он ночью чай в неограниченном количестве да пару теплых одеял, дабы не забил его хмельной колотун. Выйдя на улицу, предложил нам Лавр двинуться из Углича в Белый Городок, где ждет его друг сердечный Володька Маслов – «Ван Гог и Зверев» в одном лице, по лаврушкиным словам. Жалею теперь, что не присоединились мы к основательно протрезвленному нашему сотоварищу и не поехали на встречу с талантливым волжанином.

Вернувшись в Москву, Лавр рассказал, как ловко они с Масловым организовали в местном кинотеатре встречу зрителей с только что вышедшей на кинонебосклон яркой звездой, указав на афише, что благодарные поклонники могут приносить в дар снизошедшему до них земляку иконы, картины и прочие антикварные предметы. Лавр никогда не приезжал из Белого Городка с пустыми руками. Прирожденный краевед Володя Маслов обладал феноменальным чутьем на художественные реликвии прошлого. Вот и на сей раз Лавр «прибормбил» с Володиной помощью альбом гравюр Андриана ван Остаде. А через пару месяцев познакомился я в Москве с самим белгородчанином и имел возможность воочию наблюдать за этим глубоким, остроумным и слегка хитроватым человеком. Он все понимал, а зоркий глаз его глядел сквозь десятки метров земной глубины, подмечая самые тонкие нюансы в поведении подгулявших собутыльников. Я сразу понял, что Маслов из тех гуляк, о которых любовно свидетельствует русская пословица «пьян да умен – два угодыя в нем».

От своих друзей и знакомых, к чьему мнению я прислушивался, получил я подтверждение правильности моих восторженных слов в адрес волжского незаурядного живописца. Хвалил Володиной работы Георгий Костаки, а у него был глаз наметанный, проверенный на великих богатствах из его личного собрания. С добром относились к масловским проявлениям Зверев, Краснопевцев, Комов, Висти и многие другие московские художники самых различных направлений и привязанностей. Абсолютно лишенный страсти коллекционирования, жалею я сегодня, что отказывался от щедрых подарков, предлагаемых мне и самим Масловым и земляком его Лаврушкой. Только совсем недавно повис у меня в мастерской первоклассный деревенский пейзаж, сотворенный Масловым, и портрет мой, виртуозно исполненный одержимым любовью к живописи волгарем.

Быстрее всего оценили непреходящую ценность и значение масловского творчества доморощенные московские маршаны. Научившиеся с нашей помощью отличать Сурикова от Рокотова или Малевича от Пластова, алчно ринулись они в мутный омут псевдоколлекционирования. Играя на человеческих слабостях одаренных мастеров, а особенно часто используя их слабину по отношению к зеленому змию, умели они за «три рваных» уволочь в свои наспех оборудованные домашние запасники шедевры кисти Зверева и ему подобных горемык, опущенных водкой до самых крайних граней. И Маслов кричал мне восторженно в телефонную трубку по поводу улучшившегося рынка сбыта своей бесценной продукции, когда саранча московская машинами тащила в столицу его холсты, заменив помятые троюки прозрачными стеклянными литровыми сосудами с полуотравленным спиртом «Роял».

Очень близок был Маслов к трагическому концу, уготованному судьбой Анатолию Звереву. «Роял», он не только дюжего молодца, но и самого мощного коня в могилу сведет. Но Господь, который не допустит человеку испытаний тяжелее тех, что создание его способно вынести, направил Маслова на светлый путь спасения и возрождения. Ангелом, указующим Володе этот вожденный многими путь, оказалась замечательная русская женщина Наташа Алешина, ставшая женой художника. Быстро и проворно обиходила она совсем прогнивший быт живописца, поставила «железный занавес» перед ловкими спекулянтами и любителями половить рыбку в мутной водице. И вот уже Маслов, ухоженный, просветленный и по-прежнему восторженный показывает свои последние работы на выставках, одержимый жаждой признания, которое, по его словам, нужно ему словно воздух или солнечный свет. Среди болезни своей порадовался я несказанно, получив каталог небольшой масловской выставки, которую организовал мой старинный друг Володя Васильев в парадных залах руководимого им тогда Большого театра. Сам плодовитый и самобытный художник, Васильев сумел рассмотреть в холстах Маслова подлинную их ценность и глубинную сущность могучего дара, отпущенного волгарю Богом.

И вот сегодня я бесконечно счастлив, представляя вместе с Наташей Масловой, Володи Васильевым и сотрудниками «Московского дома национальностей» лучшие работы Владимира Маслова современным зрителям, уставшим от затхлой, безвкусной и много раз пережеванной пищи, которой кормят их галереи Гельмана, разнузданные Кулики, уставшие от незаслуженной славы Кабаковы и прочие псевдохудожники, лишенные и сотов части подлинного дара, щедро предоставленного Владимиру Маслову самой природой.

*Савва Ямищиков,
заслуженный деятель искусств России*

Детство

С детства считали меня чудачком. А за что, почему – не различаю. Волновала до слез красота, что с собой можно поделаться! Чуть что, слезы катились! Думается, как я, все люди такие – любят березы, Есенина, деревенскую жизнь... Смеялись многие надо мной, да что там многие, поголовно смеялись. Но я не обижаюсь. Даже отец и дядя Коля говорили: «Сивка со странностями!» Они меня всегда ласково звали. Я, почестно, крещен Вовкой, Владимиром, но они звали Сивкой. Мне нравилось, я думал «сивка-бурка, вещая каурка» из сказки, а оказалось, это птичка семейства ржанковых, мелкий кулик, доверчивый такой, что на него даже охотиться неинтересно.

Детство у меня было хорошее. В глазах как рай – все цветное, камыши, синяя Волга, белая церковь у Белеутова, где я искал свою мать. На телеге отец возил меня в поля: пруд, рига, цыгане, насосы ручные... Ласковые крестьянки говорили: «Мама из Москвы яблок привезет». А ведь обманывали меня, ее уж на свете не существовало. Одно воспоминание осталось, как от прежних людей.

В сущности, мы жили постоянно в лесу. В дебрях глухих, можно сказать. С трех сторон лесами окружены, впереди река. Как такие места отец находил? Может быть, он людей не хотел видеть? Я и сам уединение полюбил. До слез природа волновала. В домике простом тусклый свет освещал все, отец мыл нас с братом в корыте, а за стеной просилась в дом и плакала вьюга.

Отец был учитель. Наши почти все учителя, приметные люди: и отец, и дядя Коля, и дядя Толя. Кудрявые, черноволосые, прямо иконописные лица у всех. А как лепили великолепно, на гитарах играли, декламировали! Вальсировали даже! Все музы, думается, у них гостили. Я сам всегда страстно стихи любил. Дядя Женя был инженером, а тетя Лида – врачом, а я родился, по-видимому, художником, но долго не догадывался никто.

Душа у меня рано запела. Только родился, только протер глаза, безумно полюбил рисовать. Как томление какое-то, сами знаете перед чем, или, как я слышал где-то, «не насытитесь око зрением», страстное такое желание рисовать было. Рисовал везде: в лодке, на сеновале, в лесу, на чердаке до ночи с лампой просиживал. Дедушка не обижался, как я его рисовал, с длинною бородой в железнодорожной фуражке. Рисовал в воздухе пальцами, веткой на песке... Волжского песка на берегу были горы, чистый и золотой, как в пустыне египетской.

Тетя Лида просила меня на воспитание взять, чтоб на художника выучить, но отец не отдал. Я такой хорошенький был, жизнерадостный. Слышал не раз, как родные говорили: «Посмотри, Лидуся, какой Вовка хорошенький!» В детстве я, почестно, недурной наружности был, тонкий, черненький, глаза большие, но неуч и почему-то краснел, как мак, лет до тридцати. Мне застенчивость страшно вредила. Первая подруга моя только пьяным сумела в постель приземлить. Вот стрижи, стыдно и говорить, спариваются на лету, а мы не стрижи, к сожалению. Много я страдал оттого, что не стрижу, что боялся женщин непьяным. Столько страхов, страданий, легче бы, воздушней ко всему относиться. Не я один... Видно, из-за влечения к женщинам все пить начинают.

Мой отец родился охотником страстным. Ружья постоянно заряжены на картечь, англо-русских гончих держал, легавых мышинового цвета, сучек, правда, больше любил, от них ведь приплод. А какие познания большие о травах имел, о голосах птиц! Фиалки по запаху ночью мог находить! Точно не знаю, но родные что-то скрывали. Замашки у них какие-то барские, беспечность во всем, яблоневые сады разводили... И какое нажили добро? По две лавки, пять книг по ботанике, ружья и на цепях три собаки. Моли – и то есть нечего. У дяди Коли, кажется, еще гербарий и граммофон были. Дядя Коля и дядя Толя тоже буйные, высокохудожественные натуры, охотники! Да охота вообще древнейший вид деятельности! Так

стреляли великолепно, думается, «Записки охотника» запросто могли написать. Все эти: «а между тем заря разгорается, вот уже золотые полосы потянулись по небу, в оврагах клубятся пары...» они тысячу раз видали. И я видел.

Дядя Коля особенно яркок. Изумительный человек! Нервный, сухой, вспыльчивый, болезненно честный меломан с усиками, он до восьмидесяти лет в проруби купался, пока врачи не запретили, и не ел ничего! Всегда перед ним две-три борзые, сам на велосипеде, как птица Сирин, гордый сидел, не сидел, а точнее мчался в галифе и белой фуражке. Он собак своих прям очеловечивал. Запросто за них застрелить мог. Собаки у него худые, как балерины, изысканные, дядя их огурцами кормил, а водитель какой-то одрами обозвал, кинул в них что-то. Дядя одров ему не простил. Не поленился, восемь километров на велосипеде гнался за ним, и погоня его не остудила. Прямо с ружьем «кригхофф» в избу ворвался, с печки стащил мужика, еле отняли его у дяди. А потом десять лет судился. Всем судьям надоел. С ним и не связывался никто.

А одно время я у дедушки письма находил в красивом сундучке. Он в Хотьково начальником железнодорожной станции был. Лишнего в доме, конечно, ничего, аскетизм. Только сплошь увешано фотографиями: люди черные, долгоносые, мальчики в курточках, барышни в кружевах. Бабушкины акварели висели. Письма «Милостивый государь», а может, «Ваше превосходительство» начинались, точно не помню, но почерк помню – каллиграфический!

Представляете, **государь!** Видно род непростой или не совсем простой! Но родные ничего не говорят, скрывают. Или с Кавказа были корни, или еще дальше, из Палестины. Да, я никогда ничего не вру!

Как сейчас вижу: заря разгорается, вот уже золотые полосы потянулись по небу, в оврагах клубятся пары, отец молодой и похожий на Блока, босиком идет на охоту, и следы на росе остаются. За ним я с маленьким ружьишком. Лет с шести у меня ружья были. Мы за утками идем на болото, где черти живут. Отец декламирует:

Бекас – алмаз!
Он не про Вас,
Не по зубам
Орешек Вам!

Идет себе, литой, как гирька, кудрявый и красотой своей не гордится ни капли. Не боится волков, ничего не боится. Я его спрашивал: «Пап, ты дом можешь поднять?» Он отвечал: «Могу!» Я этому верил. Наши все такие!

Дядя Женя с тетей Лидой тоже красавцы, умные, правдивые, атеисты, «ворошиловские стрелки». Хотя ошибиться могу в атеизме. Дядя Толя, кажется, каждое утро молился: «Господи! Помилуй брата Колю, брата Женю, брата Володю и сестричку Лидочку!» Это один дядя Толя развел мистицизм. Бабушка, я слышал, еще до революции молиться ему за всех поручила. А остальные никто не молились, ни дядя Коля, ни дядя Женя, потому что у всех высшее образование. Не шибко грамотный в семье только я. Я хоть убейте, что такое электричество, не понимаю!

Но вошло мне в душу поэтическое видение мира. Как красиво было кругом! На болотах кулички, клюква. Березки и осинки чахлыми листиками трепещут, как на Октябрьскую флажки. Болотные курочки, маленькие такие птички, любой стебелек их выдерживал, прямо по воде ходили. Мы среди сказки жили. Чистые были, раз по пятнадцать в день купались в пруду среди карасей. А когда в меня пиявка впиалась, я к отцу в школу голый вбежал прямо с пиявкой. А-а-а-а! Шесть пиявок могут умертвить лошадь, двадцать семь – быка. Это из Брема отец вычитал. Хоть и боялся я крови, но пиявки – мура, черные червячки без органов чувств. Самое страшное в мире – бараны! Вон как адски бараний рог Бог скрутил, хоть я

в него не верю, конечно. Встанут на пыльной дороге и смотрят в упор желтыми гипнотическими глазами. В шерсть их красные тряпки кто-то вплетал. От красного цвета, как от крови, начинает тошнить. Я в природе не вижу красного...

А потом замешалась война. Наши все уехали Родину защищать, даже дедушка с тетей Лидой. А меня на прощанье отец поцеловал. Чмокнул шестилетнего Сивку нежно. А малец, то есть я, не выдержал, с горя в летаргический ухнул сон, лучше не вспоминать. Девять дней я спал, путешествовал на том свете. Райских снов только не видел, потому все смешалось в памяти: дедушка, детский дом, девушки, красивые, как цветы...

Мне знакомый толстовец один говорил: «Ты войны не касайся, Володя! Лев Толстой гениально войну осветил». Я и не собирался касаться. Я войну не люблю. Я люблю оперетту: «Летучая мышь», «Сильву», «Трембиту». Художника Веласкеса, кстати, тоже Сильвой звали. Шестьдесят один год прожил. Мало как живут люди. Видно не мед жизнь была, а может, чума напала, инквизиция или ел с оловянной посуды... Я об оперетте... Какая прекрасная музыка! Даже слушать ее невозможно! Я весь в мурашках, как пьяный. Поют сильно, аплодируют страстно! Перья страуса, цветы и везде женщины, созданные для любви!

А в войну мы с братом у добрых людей на станции Углич жили. Нам хоть бы хны! А потом в детском доме, как у Христа за пазухой. Сравнительный гуманизм раньше был. Правда, у Христа за пазухой до поры до времени хорошо, а как ризы начнут делить – запоешь!

По заброшенной узкоколейке мы тогда на станцию часто ходили. Вдруг отец, дядя Коля или дядя Толя приедут. Кто-то еще. Да и вообще интересно, куда колея, почему паровоз брошен? Лезем, лезем на паровоз, ни души человеческой, ничегошеньки. Телеграфная проволока дрожит, а на столбах вороны, как вестники смерти в черном крепе сидят, похоронами в мире животных занимаются. Сердце екает, такой еловый лес вокруг мрачный. Я еловый лес не люблю. В нем птиц не слышать, а трава под иголками чахнет. Ели только на Новый год в огнях хороши.

Будто тут дорога в старину проходила, по которой мощи царевича Дмитрия несли. А теперь никто не ездит, не ходит, потому что кровь на дорогу капала до Москвы! Вот какие апокрифы народ сохраняет, чтобы детишек пугать. А они, наивные, верят! Мне до сих пор, почестно, Дмитрий мерещится в еловых лесах.

Я тогда сильнее своего дедушки железную дорогу полюбил. Рвы, пакгаузы, кирпичные водокачки, запах креозота прекрасный. Десятки составов под парами на железнодорожной ветке Калязин – Углич. Всех солдат по домам можно развезти. За что немцы на нас напали? За что ранили наших солдат? Они добрые, все тушенку едят, а нам банки облизывать давали. Я же говорю, вокруг гуманизм был! А что в поездах давка, так Анна Каренина и то ехала вшестером, в тесноте – не в обиде, как дедушка говорил. В войну и подавно люди на крышах ездили. Сидели, как на спине динозавра. Вагоны низкие, трубы высоченные, на каждом вагоне множество труб. Мы, внуки железнодорожника, и то не знали, откуда, для чего столько труб? Настоящий восточный базар на крыше! А вернее мышинный: платки, зипуны, котомки, на ногах ботинки – все серое. Благородного такого серого цвета, как в деревнях все старинные избы. Этот цвет сильно волнует, настроение создает. Вот бывает прусская синяя, красная английская, а эта русская серая натуральная, пусть будет. С ней одной в палисадниках георгины и резные наличники в гармонии сочетаются. И кто ехал на крыше – удивительно, все песни пели. Настоящие песни, народные, душераздирающие! Много все же души в народе. Вот русские, поголовно художественный народ. В каждом искусстве, думается, больших высот могли бы достигнуть!

Мы на станцию каждый день с братом ходили, каждый день углицкое предание о царевиче вспоминали. Видели множество горя, злосчастья, а отца не видали. Да и откуда ему

там быть, из когтей смерти в Иваново из последних сил вырывался. Бредил: «Сивке ружье куплю, Вене – гармонь, у него слух отличный...» Гончих по именам вспоминал.

Отдали меня зачем-то в школу, хоть жажды знаний не было у меня, диктанты писал прямо насильно!

«А между тем заря разгорается: вот уже золотые полосы потянулись по небу, в оврагах клубятся пары...» Хорошо, что я диктантами зрение себе не испортил! Не ума-разума набираться отдали, а чтобы хлебца кусочек, да ложечку песку получить. Детям тогда в школе давали. Только я есть один не могу, со всеми делился. Бабушка чья-то с клюкой мне говорила: «Ты, наверное, не от мира сего. Жить-то тебе трудно будет». Ну уж нет, бабушка. Я оптимист. Наши все оптимисты. Никто не знает, где человеческая судьба решается, никто!

Во-первых: радость такая, что отца не убили, чуть-чуть не убили, искалечили. Он потом директором стал в детском доме, где мы с Веней припеваючи жили.

Во-вторых: я всегда рисовал лучше всех, как Брейгель, и вокруг в восхищении толпы стояли. Аплодировали, многие плакали даже. И, почестно, я сам всегда плакал.

В-третьих: у меня такие находки, коллекции! Я как фанат собирал что-то всю жизнь. Страсть такая была. Старинные гвозди, конфетные фантики, самовары, крестики, монеты, заячью капусту для госпиталя... А потом раздавал все. Только старинные кованые гвозди выпрямлял и прятал. Над гвоздями, как Кощей, тряся. А не надо было трястись. Ход бы свой художественный найти нужно. Я такие гвозди у художника Краснопевцева на картинах видел, сорок лет спустя. Он такими гвоздями репутацию большого художника укрепил. Вся Москва его боготворила. А мне почему-то гвозди рисовать неинтересно. Я люблю, чтобы живое все. Краснопевцеву живое, видно, не под силу или неинтересно. Я прямо уверен, что на картинах гвозди у него мои. С моих гвоздей слава его пошла. Приезжал он ко мне на Волгу позже с художником одним. Миловидный, руки в перстнях, волосы волнистые, фасонистый. Переодетая женщина, почестно. Его раз и приняли за шпионку, когда он у воинской части рисовал. Сам мне рассказывал. Изнеженный такой человек, а с регистром речным Серафимом Раевским в очереди за пивом подрался! Что за фрукт? Так я его и не раскусил. Вставал часов в пять и по берегу камешки собирал, два или три черепа в Москву в рюкзаке увез. «Моменто мори»¹ собирался писать. Старое кладбище у нас на берегу размыло. А гвозди эти четырехгранные гробовые, а может, от старых барж, я ему подарил. Они у него везде на картинах.

Да, я от детства отвлекся, ей-богу, жил как в раю. По деревьям лучше всех лазил, коллекцию птичьих яиц собирал.

Коростель-дергач на лугу крикает, у него яйцо пестренькое такое. На коростелей даже Иван Тургенев охотился в дубовых кустах. Сокол-пустельга, яйцо красное, как пасхальное. У дрозда гнездышко из глины, как горшочек. А яйца зеленоватые с рыжиной. Было у меня яйцо цапли, большое, голубое. У деревни Песье я его нашел. Там в бору постоянно цапли живут. Цапли встречаются повсюду, колониями, только подобраться к ним трудно. Очень высоко, а под гнездом скользко, грязно и рыбой пахнет. Запросто глаз могут выключить, пока лезешь. Почестно, и не яйцо у меня было, а так, фрагмент скорлупы. Зеленоватые с крапинками – грачиные, целыми шапками я их варил. Голубоватые – скворца, у совы – круглые, белые. А сорочье яйцо точь-в-точь как грачиное. Много я гнезд разорил. И видно, бог меня наказал, хоть я в него и не верю, конечно. На гнездо пустельги я тогда лазил. Интересная пустельга птичка: носится со свистом, крылышками трепещет, смотрит, где мышь пробежит, стрекоза пролетит... Все в гнездо тащит. На сосну высокую, обледенелую, я влез, олух. Стал спускаться и заскользил, как Галилео Галилей. Ускорение свободного падения. Несколько секунд адского страха, метров с десяти, бац! Как земля подо мной раскололась, душа от тела

¹ Моменто мори (искаж. лат.) – помни о смерти.

оторвалась. Все внутри у меня полгода болело, чуть не зачах, но отцу ничего не сказал. С героев пример брали. Он все спрашивал: «Что с тобой, Сивка? Ниже травы, тише воды стал, по деревьям не лазишь». По уму меня самого за яйцо можно считать.

Страной своей мы гордились, оптимизм повсюду царил. Человечество все с надеждой на нас взирало. Все тогда мечтали летчиками стать. Так сейчас родителей не любят, как народ летчиков любил. На руках их носили. Как солнце они в избы входили, деревенские дети за ними гурьбой...

Сам я летчиков в детстве не встретил ни одного. Слонов и дельфинов не видел. Это ведь редкость. В соседней деревне, говорили, знаменитый летчик родился. Я сам думал, летчиком стану, полечу над детдомом, как сокол, крыльями серебряными помашу. Девушки по радио в войну на два голоса пели:

Улетел мой дружок высоко,
Улетел мой дружок далеко,
Скрылась в небе точка самолета
Буду ждать я летчика из полета.

Одного Сталина шибче летчиков любили. Естественно, его весь прогрессивный мир обожал. Я и сейчас о нем тоскую. Он всегда с трубкой, всегда со Светланой, всегда улыбается. Дети жаловались в письмах, если кто обижал. Он, как отец, заступался.

Лично меня никто не обижал, а драли за дело. Раз чуть не убили за заячий воротник. Но я не обижаюсь, конечно. Если ребенок без царя в голове, как я, всыпать полезно. Заячий воротник – это самый шик, из русака-зайца, а я в него из ружья, ба-бах, картечью. В клочья обновку к школе разнес! Чуть отца не убил! Картечь ведь не на зайцев, на волков крупная дробь.

Может, все подростки такие бесчувственные, не я один. Под старость осознание приходит. Про гормоны и гены в то время не ведали. В голову, говорили, что-то шибает. Много я отцовской крови попил, жалко теперь. С Колей, дядиколиным сыном, на пару. В детский дом к себе его взял. Раненый отец, бедняжка, нервный, диверсантов боялся, поджогов. А в него будто дух педагога Макаренко вселился. Каждого паренька приметит, кому украинскую песню поет, кому зверей лепит из глины, кого стрелять учит, а бенгальские огни на праздник всем показывает.

Только сынок за войну от рук отбился: варенье у соседки Сони крадет, вор, каких мало, вдобавок взят с поличным – в бутылку с чернилами писал, отец чуть в обморок не упал. Притча во языцех, а не директорский сын. Здорово я авторитет отцу подрывал. С Колей мы, водой не разольешь, против отца спелись.

Называли друг друга «милейший». Огороды в округе все с «милейшим» обчистим бывало. Детство, почестно, голодненькое. Да не то слово, хлеба досыта несколько лет не ели. Редька, турнепс, горох – все в пищу шло. Развернулись мы с «милейшим» так, что гуся чужого зажарили на костре! Покуролесили с Колей, как Герцен и Огарев на Воробьевых горах, но в жизни дальнейшей не пересекались. Эх, Коля, сердечный друг! Как я о нем скупаю. Он сразу в гору пошел. За ним не угонишься. Дядя Коля гордился, что сын генерал, пусть пограничник, не летчик, зато на золотую медаль учебные заведения окончил! Разве я такой! Разгильдяй, по необходимости учусь, после порки.

Ох и драл отец за воровство! Как узнает, со всех ног бежит, показать, где раки зимуют. Куда там! Прыгнем в лодку с «милейшим», ищи-свищи на дальнем берегу. Если поймает, держись! Полетят клочки по закоулочкам! Уши зажмет между ног, как поросенок визжу: «Пусти, пусти! Все Сталину скажу!» Ей богу, сразу жажда знаний приходит, любознатель-

ность, учусь на «отлично». Память у меня прекрасная была. И отец, и дядя Коля это отмечали. Но родные разочаровались вконец, что выйдет из меня педагог. Ни с чем пирожок!

«Сбегут зверьки, поджав хвосты, из старых нор своих, реку перешагнут мосты...» Как в «Мурзилке» писали, так и вышло. Индустриальный вал накатил, как у Айвазовского «Девятый вал», который всех губит. Ничего вокруг не пожалел, не помиловал. Старинные города под воду ушли, на дне леса-призраки. Вот она где, Атлантида!

Враз тогда возникли острова на реке, сотни лесистых, песчаных островов возникли. На островах птицам – рай. Безлюдный, птичий остров один нашим считался. Большой, километра полтора, он даже на лоцманские карты нанесен. Канюки-ястреба целый день высоко над ним кружились. С одной стороны лес, а с другой на косе большая хорошая трава. Мы там всегда сено косили. Такие с острова открывались дали! Может, только поэт Некрасов такое на Волге видал, как я. А теперь никто не увидит. Золотые чистейшие пески, горячие такие, ноги можно обжечь. Сутуленькие, носатенькие кулички крестики лапками на песке ставят. Детство-то какое счастливое! Все прошло под голос кукушки. Кулички, кузнечики, кукушки – главных три кита, на них все воспоминания держатся. В кустах перепела, куропатки... живое все.

А теперь дичи и зверей нет. «Утро в сосновом лесу» не напишешь! Сталин после войны один за всем уследить не мог. Страна-то большая! Кипучий сверхчеловек, но доверчивый. Не все, как Тургенев или дяди мои, по охотничьему катехизису жили. Полупьяные нелепые мужики с дворянками поголовно себя охотниками называли. Сталин, наверное, зубами скрипел, что всю землю изгадили. И еще грех большой на совести профессора Мантейфеля. Зачем-то завез в Россию енотовидную собаку! Черт его знает, профессор, и так промахнулся! Хищников достаточно, а тут еще еноты. Боровую дичь всю они переели. Что за жизнь без глухарей, без рябчиков! Профессора все охотники осуждали.

Целыми летам я в шалаше из осины на острове жил. Ни о чем не думал, никаких книг не читал. Кто же летом читает? Может, профессор Мантейфель? У меня и была в детстве одна книга Виталия Бианки. Днем и ночью на острове один и не боялся ни капли. Колокольчики, лютики, дрема – золотые мгновения я здесь пережил. А траву чуть не над вечным покоем косил, погостов, церковей сотни три затопили.

Из-за острова на стрежень дни, как проплывающие баржи, текли, в час три километра. Дымы, гудки... Большие черные трубы. Баржи колесные, как гигантскими ладонями шлепают по воде: чух! чух! чух! На рассвете появятся, плоты тащат на длинных тросах, и к вечеру еще на горизонте. Шкипера на гармошках играют, на каждой барже гармонь. И прямо изба стоит с русской печью, курами, поросята бывали... Подлещики и плотва пудами сушились. А имена-то какие у барж! «Петр Кривонос», «Макар Мазай», «Дуся Виноградова...» Как песня! Если рай есть, то он именно такой, как наш остров на Волге. Там всегда, когда солнце садилось, сверкающий малиновый столб, как палец, кому-то грозил. Под малиновым облаком столько вечерней печали...

Перед дождем листики осиновые на шалаше трепещут. Больше всех деревьев я осину люблю. Грозы вдалеке погромыхивают. Перед грозой на лодке отец приезжал: «Как ты тут?» Волновался. Мы купались с ним голые, как дети природы. Будущее виделось туманным и бесконечным, как небо над Волгой.

С детства я ходил с берданкой, порох бездымный весь покрал у отца, но охотником не стал. Такое умонастроение овладело, как у толстовцев – жалко живое убивать. Ни зайцев мне не надо, ни бекасов, ничего! Скотину я всякую жалею, воробьев лет тридцать кормлю, песиков волжских, котов...

Сколько я зимой конских туш топором искрошил, не счесть! Где-то по знакомству отец павших лошадей доставал. Для гончих. Все на Руси по знакомству, даже мертвые туши. Метров за триста их от дома бросали. Мы совместно над ними трудились: утром я да птицы,

сороки, вороны, а при свете луны пир на весь мир шел: лисы, волки, еноты профессора Мантейфеля. Иже с нами, все, кто с зубами. Мышки полевые приходили, они едят мясо, но не любят. А толстовцы любят мясо, но не едят. Они даже водку хлебом закусывают. И я не любил мясо, туши на морозе крушить силенок у меня маловато. Лошадиные ребра несокрушимые и легендарные. Пусть бы собаки сами рвали от туши куски и возвращались на выстрел отцовский. У охотников все собаки так приучены.

Я любил страшно, когда пристрелка ружьем начиналась. Не я один, покои века мальцы все к оружию тянулись. От дымного пороха звук раскатистый, как гром, но пыхает сажей, как Змей-Горыныч. Бездымный порох более прогрессивный, конечно, главное ружья после него чистить шомполом не нужно. А выстрел сухой, как пистолетный. Бездымный порох, как соль, в пачки фасуют, а на пачках сцены охотничьи изображены: сеттеры, лайки, ушастые зайцы, как же красиво! И порох, и ружья, и чего прогрессивного ни коснись, – все китайцы изобрели, великая нация.

Ружья у отца замечательные, такая пригонка частей ювелирная, если в замке травинка – все, не закроется! Бог знает откуда он Мацка ружье достал. Штук тридцать на всю Россию их, говорят, осталось, инкрустировано серебром. А Лазарини ружье или Моргенрота – дамаскская сталь, все сверкало! Лепаж, да и Зауэр почти ни за что не считались.

Я рисовал меловой круг на сарае, сантиметров в диаметре семьдесят пять, и отец палил из ружья, проверял разлет дроби. Это называется кучность. Как-то зарядом пороха эта кучность регулируется.

Наши все приезжали охотиться с отцом. Он на голову выше всех, как охотник, годами в лесу. До тридцати лис в сезон добывал, хитрая, говорил, лиса скотина такая..., а беляков, русаков, селезней никогда не считал.

Все приезжали, а дядя Коля к нам больше не ездил. Смутно я эту историю знаю, наши не болтуны. Когда с фронта отец пришел, первым делом редких щенков раздобыл, видом точь-в-точь, как его гончая Шныра. Одного для себя, дяде Коле второго. Дядя Коля был рад. Много волки отцу сгубили собак, самых лучших гончаров охотничьих. Идеальных, а любимую Шныру в войну гады какие-то скрали. Он в собаках толк знал, большие деньги за щенков отдал, сам говорил, корову можно купить. Сам гол, как сокол – ружья, валенки, да мы с Веней. Я щенков этих помню. По прямой линии от очень известных собак – расторопные такие, храбрые, с детства лаяли басом. Нас отец воспитывал со щенками – не бояться воды, зарослей, задатки злобности развивал. Леса, зарослей я не боюсь, а чувство злобности у меня не развилось, наоборот, избыток доброты мне страшно вредил. Проживу как-нибудь, мне на волков не идти, а щенки успешно натаскивались. Тьму волков отец перебил матерых и прибылых, столько их развелось, подманивать, подвывать не нужно, сами в окна заглядывали. Бей, каких хочешь! Тут случайно дядишкин щенок пострадал, волк только лязгнул зубами и ноги ему перекусил. Отец и пристрелил щенка, что же это – хромая собака! У отца тоже собаки гибли. Одну он на руках с охоты принес, забинтованную всю рубашкой.

Отец написал дяде Коле: «С прискорбием извещаю, брат, что твой щенок пал смертью храбрых у деревни Паулино». Что с дядей Колей сделалось! Даже боялись за него. Он тогда с Папаниным на Севере был. Плыли, кажется, на льдине. Стих такой дети декламировали:

Приехал, приехал Папанин!

Мурзилка навстречу идет.

А где-то в полярном тумане Советская льдина плывет.

Или на льдине они позже плыли? Незаметно как-то увлекся вином. С пьянкой этой мысли все путаются и ускользают. Половина головного мозга погибла от вина. Хорошо хоть костный мозг помогает. В общем, дядя Коля разгневался, что погиб не отцовский щенок, а его. Он хоть в глаза того щенка не видал, а крепко полюбил и мечтал с ним на охоту пойти. Ничего не подействовало – ни память детских лет, ни что племянника Колю отец приютил

в конце войны. Дядя Коля обиделся и очень сильно, никто из братьев уговорить не смог. Дядя Толя, кажется, и Богу молился, не помогло. За щенка дядя Коля отца не простил, хоть виноваты во всем были волки. Радиограмму прислал, что за щенка с ним сочтется. Пусть на охоту в его сторону отец больше не ходит, за себя не ручается! А сказал, пришлось слово держать. Слово не воробей. Все наши слово держали. Он даже на похороны отца не приехал. Вот наши какие! Как кремь! Все нерусские характеры имели! И отец, и дядя Коля, и дядя Толя. Я один мягкий, добрый, бесхребетный какой-то! В мать видно пошел. А может, искусство повлияло.

Я, кроме Сталина, боялся диктантов. В школе познания самые незначительные приобрел, почестно – крупницы знаний. Я и читать не по складам недавно выучился из-за женщины одной. С арифметикой у меня поскладней было, я очень числа любил: вычитать, умножать, складывать. А делить начну, так весь раскраснеюсь. Да, арифметика, вообще, царица знаний!

Главное, я влюбчивый был, повышенной чувственности. Как теперь говорят, либидо какое-то страшное. В десять лет влюбился. Глаз не спускал с учительницы Зинаиды Васильевны, у которой единство цвета во всем: черные ресницы, черные глаза и валенки черные. Я в искусстве живописи лишь единство цвета признаю. Чувствовала мой восторг, вот и не спрашивала меня никогда. Жалко, что отец на ней не женился, он другую невесту нашел. Наши-то все красавцы, по одному разу женаты, никто дон Жуаном не стал: ни дядя Толя, ни дядя Коля, ни дедушка. Как вдовели, так сразу говорили: «Все, моя жена – сыра земля». Уж дядя Женя на что раскрасавец был у нас, прямо Ференц Лист – царственный старик, тоже один раз женился! А отца рок преследовал, второй раз жениться пришлось.

Не у кого мне спросить, почему он мачеху выбрал, хоть она в шляпке с пером, внешность у нее средненькая. Уж я-то прекрасное понимаю! Наши все удивились, артистку из драмтеатра на лодке катал, а женился на этой, как ее, Ираиде. Но мачеха тоже не стрелочница какая-нибудь – библиотекарша в шляпке, как у Любви Орловой. Хотел, видно, отец дом восстановить свой, чтоб все, как до войны: мать, дети. В двадцать два года мама от сердца слабого умерла. Мы и не помнили ее с Веней. Вот он и привел девушку Ираиду, матерью велел называть. Только мальчишки одичавшие, в цыпках, девушке молодой не нужны, ни такие, как Веня, милые, ни жизнерадостные, как я.

Мачеха, конечно, хозяйка прекрасная, всем на зависть огород развела, но отцу, почестно, огороды не главное. Он, как наши, необычные совсем люди, у них пение, охота, поэзия, в общем, на первом месте идеалы возвышенные. Я смеялся сначала, какие она слова говорила: мамон, урлап, гамзуля, чистоплюй... Вот вам и библиотекарша в шляпке! Или нерусская, или от хулиганов в войну набралась. Дядя Толя по-своему объяснял: «Это диалектизмы, Вовка, по-видимому, областные слова». Может, я и стоил диалектизмов, я ведь невзрачный, особенно при дневном свете, букву «р» не выговариваю. За что ей меня любить? Мне отец и дядя Коля говорили, что я со странностями. Одна только профессорша из Москвы через много лет говорила, что у меня лицо вдохновенное. Она со мной, да я не вру никогда, даже близка была. Ну, а Веню напрасно мачеха обижала. Он такой милый, стихи с малых лет декламировал. У него вся душа пела.

Блеснули крылья стрекозы,
Бесшумно птицы прилетели,
И ветки тоненькой березы
Качнулись плавно, как качели.

Я не обижаюсь на мачеху. На женщин мужчинам обижаться не приходится. Она так за отца, за счастье воевала свое. Для меня грубость гораздо лучше, ласковые люди веревки из меня могут вить.

В ту пору отец редко дома бывал, все на охоте, в школе или на собраниях актива. Я без него все по лесам, домой не ходил, привык скитаться, как блудный сын. То окуней наловишь, то яйцо из гнезда съешь, картошки на колхозных полях украдешь. Енотика один раз съел, а теперь до слез жаль этого енота. Отравился тошнотиками раза два, чуть не умер, без сознания отец домой приносил. Я все могу выносить, как Маугли, а ростом не вышел, ростом средненький оттого, что впроголодь жил. Наши все на голову выше, даже дядя Толя, из наших наименее выразительный. Зато он между нашими миротворец, и глаза у него живые, правда, выпученные чуть-чуть.

Много горя отец перенес, лет через пятьдесят дошло до меня отцовское горе. А заплакал всего один раз. Почему у меня-то слезы постоянно текут? В ту весну птиц могучий перелет был, как встарь. Чайки, чибисы, скворцы – все уже прилетели. Я до ночи на чердаке отца поджидал, когда он с Веней из больницы вернется. Сколько я вина потом перепил, никак из памяти не уходит, как он крепился и как заплакал потом. «Не уберег я его! Мама к себе забрала Веню!» Мы с ним вместе дрожали, как осиновы листья.

Правда, говорят, первая жена от Бога, вторая от людей, третья – от лукавого, хоть я в бесов не верю, конечно. Мне дядя Толя по секрету открыл, что Ираиду не за вторую, а за третью считать нужно. Будто перед войной недели за две отец второй раз женился. Только вторая жена в детский дом нас с Веней сразу определила, только известие пришло, что отец ранен. Я на нее не обижаюсь. Всякий знает, как немцы страшно угличскую плотину бомбили. Что же, дожидаться, чтобы Углич весь затопило? Пара прямых попаданий и все – новая Атлантида! И отец ее не простил, вторую жену, финский нож мне показывал, если б в войну мы погибли, ей точно не жить.

В бесов верь не верь, никуда не денешься от греха. Сначала в мыслях, потом наяву. До двадцати одного года я, почестно, только в мыслях грешил. На мысленный грех навела меня та, что от лукавого, третья жена Ираида. Прятался в лесу и смотрел, как ручей она переходит, юбку рукой подымает... Вот в мусульманских странах юношей не терзают, женщины в покрывалах, одни пятки сверкают. А тут на Волге едет женщина на остров в купальнике ворошить сено! С ума сойти! Кругом никого, я и почти обнаженная женщина. Ню! Как будто рядом веслит истукан, а не мальчик повышенной чувствительности. Или в доме, дети все слышат, все видят, у меня вообще слух прекрасный, перегородка до потолка не достает, а она шепчет: «Еще, еще...» Русское сексуальное воспитание. Я уж в скирдах до зимы, на чердаках ночевал, чтоб с ума не сойти.

Вот судьба мне какая досталась. Прямо порча с тех пор на меня нашла, нравятся женщины в годах и постарше. Таких все находил или они меня находили.

И с ученьем моим что-то странное. Я во время войны раза три начинал учиться и после войны, кажется, начинал. Может, на второй год оставался? Все помнится, пишем: «А между тем заря разгорается, вот уж золотые полосы..., в оврагах клубятся пары...» Еле-еле шесть классов закончил, семь как-то выправили по знакомству. И не посоветовал никто на художника учиться! Ни отец, ни дядя Толя, ни дядя Женя. Дядя Коля вообще только военные училища признавал. За несерьезное дело эти художества считали. Уж будто в мире все художники бедные и несчастные, как дядитолин сосед сказал! Сам-то я летчиком думал. Но сказали родные, летчиком уставать буду, я неусидчивый и интеллект хрупкий, маркшейдеров, нотариусов в роду никого, а советуют, как дедушка, железнодорожником стать. И рисуй на досуге на полном обеспечении государства!

Я с ними сразу согласился, мгновенно. Действительно, чудо! Летишь на паровозе 100 километров в час, в ушах песня: «Земля родная, Родина, привольное житье...» Летучий дым смешивается с туманом, а между тем заря разгорается, в оврагах клубятся пары, гудками приветствуешь встречные паровозы. Ночные гудки паровоза у любого русского автора встретишь. Наверное, у нерусского тоже. Ночные гудки всех писателей влекут.

Название у профессии громкое – пом. машиниста! И причин не одна почему я железнодорожником захотел, может, память о детских странствиях в Угличе сказала. Главное, Колю увидел в военной форме, какой он красивый, а я все красивое любил.

Сразу себе форму захотел, брюки с зеленым кантом, петлицы, фуражку с околышем, тоже зеленым, и Советского Союза герб. Все зеленое, думается, **бархат!**

Как все-таки идет военная форма мужчинам! Подтянутые, красивые в ней даже уроды, а Коля такой бравый, просто я загляделся!

А может, дедушкин ген сказался, он до того железнодорожное дело любил, что в революцию станцию не покинул, когда уже восставшие телеграфные столбы пилили. Вместо телеграфиста передавал что-то шифрованное: та-та-та! та-та-та!

Да, как внука железнодорожника, просто тянуло на поезда, и все! А если по правде, самостоятельным быть захотел. Надо когда-то новую жизнь начинать, без отца, без дома. Много раз я от мачехи убегал, а теперь в счастливое будущее мощный паровоз увезет. Не только в сказках мачехи со света сживают. Но я на нее совершенно не обижаюсь.

В общем, я в Москве в железнодорожное училище поступил на профессию помощника машиниста. Всех сирот и несчастных в ЖУ принимали. И за гуманизм тогда очень сильно Москву любили. В ней и правда была, раз в Москве правду искали. А я ничего не искал, с Волгой попрощался и в путь, как мой земляк Афанасий Никитин.

Железные дороги – это ведь чудо! Гигантская империя в нашей стране! Депо, полустанки, маневровые горки, везде домики уютные у обходчиков, вокзалы с буфетами, газированная вода, фонарики, флажки, телеграфные аппараты. Везде помощь можно найти, кипятка на крайний случай!

На путях паровозы маневровые, толкачи, рвутся в путь, только реверс открыть, чтобы пар кинулся в цилиндры, пыхтят, лоснятся, горячие, будто дышат! После смены, как коней, ветошью их оттирали. Цилиндры, большой и малый, двоякого расширения, кулисы, кривошипы, дымовой ящик, на нем звезда, серп и молот! Сколько во всем этом поэзии! А ключи, кронциркули, шабер, шуп... Да что там шабер! Я весь паровоз до винтика знал!

Мы в шинелях суконных, в фуражках, с молоточками, маршировали в ботинках и всегда пели «Марш трудовых резервов»:

Пройдут года, настанут дни такие.
Когда советский трудовой народ
Вот эти руки, руки молодые
Руками золотыми назовет.

Не только маршировали, конечно, теория и практика была. Куда она девалась, железнодорожная шинель? На гвоздике висела б сейчас, я б на нее Богу молился! Петлицы наши зеленые, изумрудные, лучше, чем у пограничников, я с Колей сравнивал. Он на пограничника учился в столице. Мы в столовую строим, на занятия строим, не метались, как дикие лисы в городе, когда двадцать или тридцать путей переходили. Размах перевозок был!

А одна песня слезы вызывала всегда, хорошая железнодорожная песня:

Идет за составом состав,
За годом катится год,
На сорок втором разъезде лесном
Обходчик старый живет.

Как обходчик внуков вырастил, как они хорошими обходчиками стали, а один внук поезд от крушения спас... Какое чудо эта песня! Мертвого из гроба подымет.

Да что там песню, библию железнодорожную можно написать про обходчиков, повесть или роман. Каждый человек, почестно, ходячая повесть. Отчего-то действие всегда на железной дороге происходит. Как братья Черепановы первый паровоз пустили на Нижнетагильском заводе, так и пошло. Все-все: Анна Каренина, князь Мышкин, Веня Ерофеев – непременно душу изливают в вагонах, монотонный стук колес располагает, что ли? Я, почестно, никогда эти книги толстые не читал, они скучные. Я кино смотрел, по голосам вражеским что-то слышал. У меня в детстве одна всего книжечка была – «Лесная газета», Бианки. Вот дядя Женя у нас библиофил, книги собирал по искусству. Самый красивый из наших, и вокруг него все красивое. Дочери ахматовского вида, обе у него на коленях сидели среди гравюр. Как статуэткИ! Я в одну даже ненадолго влюбился! Хотя я Ахматову за красавицу не считаю. И не завидую ихнему счастливому детству. Меня тоже все любили: тетя Лида, дядя Толя, дедушка... Дядя Женя меня безгранично любил, жить к себе приглашал. Я сам не захотел, я не люблю людей беспокоить. Он мне гравюры из круга Остаде пачками прямо дарил. Я едва нес, полпуда их было, не меньше. Вот дядя Женя какой! Наши все добрые, все меня любили.

Дяде Жене богатство несметное от какого-то искусствоведа досталось. Фамилию сложную, сдвоенную, иностранную я забыл. Этот искусствовед под землей тайный ход в Московский Кремль исследовал, библиотеку Ивана Грозного искал. Не нашел ничего, конечно. Кто-то у меня гравюры эти ласково попросил, я и отдал, мне для себя ничего не нужно.

Дело, думается, было в ЦДКЖ, в изостудии, дядя Толя увлечение мое не забыл, за руку взял и повел в изостудию. Дом культуры железнодорожников чуть не на каждом полустанке вместо церкви открыли, а в Москве – дом культуры центральный, ЦДКЖ. Даже странно, как в оперетте в ЦДКЖ вместо буден вечный праздник царил. Это, думаю, оттого, что композиторы советские там все выступали: Покрасс, Дунаевский, Колмановский...

Дунаевского я гением считаю. Музыка какая у него прекрасная, в ней даже грусть светлая, не загробная. В детстве я только его песни напевал, когда на плоту плавал, как артист мой любимый Черкасов:

Ходят волны большие, большие Вот такие большие, как дом!

Мы отважные волки морские Смело в бурное море идем!

У Дунаевского проникнуто любовью все! Все зовет к встрече, как весенний ветер, у него полет... У меня текут слезы, и я в мурашках! Вот какое созвучие душ у меня с Дунаевским! В изостудии дюралевый молоток был, отбойный. Его иногда натурщику давали, он с молотком сидел. На нем надпись «Исааку Осиповичу Дунаевскому от шахтеров Донбасса». Вот человек! Свой молоток в студию отдал!

А Дмитрий Покрасс? Своими глазами я его видел! Он для простых проводников и стрелочников кружки вел! Или Оскар Фельцман. Он весь под властью музыки, ему и «Оскара» не нужно, ему от папы это звание дано! Самого Дунаевского я мог бы увидеть! Вот как в ЦДКЖ было, утром – могучие, гордые паровозы, вечером – встречи с мастерами искусств. Хоры и оркестры... Мы в студии под аккомпанемент поющих голосов рисовали! Теперь и голосов таких нет, одни солисты в хорах железнодорожников пели.

Я в ЦДКЖ, в тиши изостудии, прямо возродился, ожил. А то крепился, крепился, маскировал тоску, тяжело в ЖУ после калязинских островов. Уж хотел кончить все разом, как Анна Каренина... Я не плакал, просто слезы сами текли. На мою мать тоже печаль находила. Но притерся потом в Москве, притерпелся, пессимизм не характерен для рабочего класса.

Не помню, что я нарисовал в первый день: ухо Давида, нос Аполлона или этюд а-ля прима смело так сделал, а может только выдавил краску, как красавец учитель – бедный, руку потерял на войне – уж говорил: «Вот из этого человека выйдет художник!» Да, я не вру никогда, почестно! Даже взволнованно как-то сказал: «Вот из этого человека выйдет художник!» И все бросились сразу смотреть, что я нарисовал там такое. И все по-хорошему

возбужденные, сплошь энтузиасты различного возраста и обоего пола. Некоторые уже тьму, да что там тьму – уйму гипсовых черепов нарисовали и торсов. Преклоняться перед ними нужно. И любовь к искусству и преемственность поколений, я все видел, кое-кто из передвижников младших преподавал в старшей группе. Сильнейшие художники! И все моими этюдами восхищались! В старшей группе на стену повесили. Семимильными шагами я в живописи сразу пошел.

И наш преподаватель безрукий – сильнейший художник! У него ведь сам Радж Капур картину купил. Все, что угодно, мог в живописи делать: пейзаж, натюрморт, портрет. В студии по секрету почему-то шептали: «У нашего преподавателя Радж Капур купил зимний пейзаж». Что-то скрывали. Он весь мир исколесил с фильмами, Радж Капур, а картину Пикассо не купил, потому что у того зимних пейзажей не было. Пикассо не пейзажами, а русскими девушками увлекался, русских девушек безумно любил.

Кто ж их не любит? Мне самому их безумно любить хотелось. Я бы любую девушку любил, только не негритянку, даже красавицу.

Мне застенчивость жизнь всю сгубила, даже смотреть я стеснялся на женщин. А тут в студии, чудо! Девушка привлекательная одна, нежданно-негаданно сама подошла. Глаза черные, как у жука, жучьи, белое лицо, представляете, в Третьяковскую галерею с собой пригласила. Имя у нее такое, что для самой изысканной оперетты впору – Бетти. В Третьяковке – великие художники, конечно, собраны: Репин, Суриков, Брюллов и Торюшкин-Сорокопудов. Я и прежде на Волге левитановскими глазами на мир смотрел, а после Третьяковки олевитанился навсегда! И не вспомнил ни разу возле Бетти стихи, которые в детском доме девочки кричали: «Не любите черный глаз, черный глаз опасный, а любите голубой, голубой прекрасный!»

Бетти, конечно, светило знаний против меня, в двух или трех местах живописью занималась, рассказывала, как Репин великий умер с кистью в руке, просвещала. У нее не один Левитан, как у меня, у нее два кумира в живописи было: Валентин Серов, покоя ей не давал, и художник, который девочку-чучку с букварем написал. В общем, социализм несет свет на окраины. Но с фамилиями у меня беда, не запомнил я его фамилии.

В доме у Бетти, как в Третьяковке, всюду искусство царило. За городом дом у нее большой, досками снаружи желтыми обшит, а изнутри увешано сплошь Беттиными этюдами. В первый раз в жизни я тогда в гости пошел. Встретили хорошо, угощали, мама в очках в углу, как сова, девочки в чепчиках чьи-то, брат Беттин ушастый. Очкарик, конечно, инженер с интеллигентным лицом, только я в железнодорожной шинели с петличками против него – бравый, словно настоящий военный! Девочки милые, хорошенькие, губки пунцовые от рыбьего жира блестят, прыгают по террасе, как мячики. Я прямо голову сломал, чьи же это девочки такие? Но заробел я у Бетти спросить. Брат с мамой так и прожигали зрачками, может, подозревали, что я еврей? Я и сам этого точно не знал, а родные, может, и знали, да скрывали от меня одного!

А однажды Бетти утрату волос мне предрекла. Тебе, говорит, срочно жениться надо! Лысых не любит никто! Удивительно, как она догадалась о преждевременной лысине? Ведь копна волос, почти что, шапка черных кудрей была у меня тогда. А раз, когда девочки убежали с террасы, Бетти из-за ширмы китайской засмеялась, как хозяйка Медной горы, и выбежала вдруг ко мне! Как натурщица, раздетая совершенно! Обнаженная, можно сказать. Сделала на террасе пируэт и улетела! Вот она, бери голыми руками, хорошая фигурка блеснула... Я как краплак стал. А Бетти кричит из-за ширмы: «А ты так можешь, Володя? У меня два кумира в искусстве, а будет три, если сумеешь ню нарисовать!» Я и не знал, что ответить, стою, как истукан. С детства не имею набора слов для умного разговора. Я, почестно, дурак, мне отец и дядя Коля не раз говорили.

Я в себя не мог прийти несколько недель, ошалел от видения. Легче бы, воздушней ко всему относиться, сразу бы за ширму побежать! Нет сил, какой я стеснительный. А Бетти еще хлеще мне предложила: «Давай так. До пояса можешь делать все, а ниже пояса – нельзя». Господи! Да что я мог делать, год, как из деревни приехал, вина не пил! Все-таки я, наверное, русский. Онемел. Что обо мне Бетти подумала? Что я – больной, стеснительный или законченный примитив?

А дружить со мной не перестала, наоборот, захотела вместе на пленэре этюды писать. Вмиг увидела у меня признаки большого таланта. Ты, говорит, цвет понимаешь, как француз, откуда это у тебя? В общем, поправишь мне передний план, если он выйдет вялый и анемичный.

На холмы и курганы, к речке маленькой Бетти меня привела. Мы с ней с ходу мотив прекрасный для этюда нашли – речка и вздыбленная земля. Целый день мы писали, вот уже золотые полосы потянулись по небу, в оврагах клубились пары, нужно мне в вечернюю смену идти, а я не пошел. У Бетти комаров веткой с коленок сгонял. Такая увлекательная эта живопись, невозможно!

Вот такая судьба мне досталась! Из-за живописи всю бригаду подвел, машиниста и кочегара в трагическое положение поставил. Никогда не справиться вдвоем на паровозе. Кочегар уголь с дальних углов подает, с тендера кидает, отовсюду, а машинист – впередсмотрящий, командир, ни на секунду отвлекаться ему нельзя, в уголовном порядке за все отвечает! Пом. машиниста, то есть я, уголь в топку кидает, за манометром следит, за сигнализацией, молоточком по подшипникам стучит, ветошь получает, масла... Кто же мог мои обязанности исполнять? Чуть под суд не отдали меня! Саботаж! Может, с Великой Октябрьской социалистической революции я на транспорте первый, кто смену свою прогулял. Военная дисциплина всегда на железной дороге!

Из ЖУ Эдик Ровнер один на собрании за меня вступился. Как и я, сирота. Спаси его, Господи! Всем объяснил красноречиво, кто в ЖУ стенную газету оформлял и стихи писал о природе – он и я. Да еще дядя Женья спас, как всегда. Все свое обаяние в ход пустил. Сразу явился к начальству в габардине и в запонках. На него в депо все женщины оборачивались! Логика у дяди Жени железная – отравленный, мол, живописью человек, почти вундеркинд, и был бы хороший железнодорожник, кабы не странное развитие личности. Не выгнали меня, не посадили, никто дяде Жене отказать не мог, а сняли меня со специализированных, усовершенствованных, модернизированных паровозов, на которых я ездил, СУМ они назывались, по американскому принципу построены. Сняли с паровозов – и туда, где большого ума не требуется, где ручной труд и кустарная техника, в Загорск, в бандажную бригаду, износившиеся ободья менять. Так в свидетельстве об окончании ЖУ написали: «Слесарь подвижного состава», а не поммашиниста. Ну и пусть. Я и так от жизни ничего не ждал, кроме печали.

Визжат напильники о сталь,
Гремят станки, приводы,
Бьют по болванкам молота
И потрясают своды.

Я загорский край вообще не люблю. Что там хорошего Сергей Радонежский нашел? Дома, как вагоны, один за одним, ни реки, ни леса веселого, как тут жить: коровы тощие, две-три курицы, женщина с мешком, все сутулые... Я не обижаюсь, что с паровозов сняли, не судьба мне пом. машиниста быть, порядок в стране такой. Раньше порядок во всем был, даже облака строем ходили.

Где теперь Бетти? Может, уже в Союзе художников состоит. Не сумел я в изостудию из бандажной бригады выбраться, а почестно, застыдился наказания. Я ведь про себя все всем людям рассказываю. Так что мои этюды остались в ЦДКЖ навсегда. В старшей группе в изостудии выставлены.

В светлом уголке

Паровозы, ЦДКЖ, калязинские острова, кукушки, еноты – все в прошлое унеслось, все кончилось, как кино.

«Дни безумно мгновенны, недели мгновенны, да и прошлого нет, все любви невозвратно забвенны» – Бетти стихи странные такие повторяла. Я не понимал, как это «прошлого нет», чушь какая, не создавался в душе образ никак. То ли дело поэты: Есенин, Фатьянов, Кольцов, я у них все принимаю.

Мне на счастье поэт из Загорска в соседнем цеху обретался. Скрасил мне жизнь в бандажном аду. Как ни странно, поэт, а художником состоял, объявления писал: «Вперед к коммунизму», «Пятилетку в четыре года» и другие. Но поэт настоящий, стихотворец, четыре книги у него вышли. Самую лучшую – «Уголок в ковылях», он мне подарил. Как вихрь поднесся, руку первый мне протянул: «Ты пострадал за искусство! Я слышал! У всех художников в жизни хаос, гармония в душе!»

Странный этот поэт, как Бетти, глаза горели восторгом, губы, как щель, в скорбной улыбке растянуты, а волосы у него подняты надо лбом, как у Эйнштейна. Он бредил стихами, фанат! Но легкое перо, стихи у него прямо рвались из души, как голуби из мешка. Писал о простом, он большое видел в малом: о сверчке, о венике, о пальто, о шкафе. Любимая тема о насекомых, как улитка ползет по листку прямо в небо, а потом высоты забоялась, вернулась, на земле как-никак семья. Биографию каждого сверчка рассказывал. И как веник был молодой, надеялся на лучшее.

Мне показалось, почестно, мелкие темы! Мне нравятся стихи, где прославляются неимоверные усилия человеческого духа. Я ведь сам подумывал, может, поэтом стать, но мне все живопись отравила. А наши стихи все писали – и отец, и дядя Женя, и дядя Толя.

Жаль, поэт вскоре в пожарную охрану ушел, но там стихия огня и времени больше для поэзии. Мы в железнодорожной столовой встречались, я ему еду брал иногда, общество ведь не помогает поэтам, а он вином как-то нечаянно увлекся. Мало ли, что поэту нужно! Хоть один раз мы за гонораром с ним ездили, кучу денег в «Крестьянке» ему за этот стих заплатили:

Незнакомый мой друг папуас Или негр с побережья Нила!

Если б вы побывали у нас,
Вас бы русская радость пленила!
Покорила, свела бы с ума,
Вы б смотрели глазами поэта,
Как под северным солнцем зима
Зажигает в снегах самоцветы.

Бетти стихи загорского поэта, я чувствую, не понравились бы. А мне понравились, какой-то ветер, упругость, полет в этих стихах, ну пусть не самолета, а мошки, но все равно – полет. Но, почестно, печать трагизма на нем лежала. Съели б его папуасы и негры, о которых он пел. Ни отца у него, ни матери, хуже, чем я, сирота. И вино пил, за соленым огурцом и стопкой душу свою изливал. Хотя кто не пил из поэтов? Надсон зачах, а Гаршин вообще в пролет кинулся. Где он теперь, загорский поэт?

Я вот думаю, как хрупок интеллект у человека: выпимши две или три рюмки вина – все, какой-то обвал получается. Неужели такой был Рокфеллер или другие? Кто там на Западе были владельцы гигантских заводов? Поэт по пьянке женился на одноглазой девушке, а

сам уехал на Урал стихи писать. Бросил семью и ребенка, почестно, забыл, что женился. Неужели интеллект рушится так быстро под двумя стопками вина?

Как-то раз, не помню зачем, попал я в Химки на канал. Солнечную дорожку по воде пересекали байдарки. Солнце, как чешуя рыбы, блестело, запах воды, водорослей... Повеяло вдруг откуда-то счастьем, как голос Шаляпина или хор из ЦДКЖ: «Волга-Волга – мать родная, Волга – русская река...» Господи! Я сам, как Шаляпин! На волжском воздухе возмужал... Слезы у меня текли, когда песни про Волгу слышал. А города у человека всю мощь отнимают. Я люблю глушь, дикие края. Там телицы на полуднях в воде, кулик-сорока, кулик-воробей. Возвращаться надо скорей на родину и устроиться непременно матросом на речные суда. Я, по счастью, изучил прекрасно в ЖУ паровую машину. Буду плавать и рисовать, рисовать и плавать. Дурь, конечно, в голове была.

Сразу сел на пароход и поплыл до Кимр. На работе не рассчитался, ни с кем не советовался, с дядей Толей, и с тем не простился. Целую ночь плыл. Проносились по небу темные облака, а я на верхней палубе сидел с девушкой из Углича. Что-то про звезды рассказывал, хоть и сам про них ничего не знаю. Вот вам урлап, гамзуля, чистоплюй! В гости она меня приглашала и адрес оставила, но я в Кимрах сошел, мне же на пароходы устраиваться и я скромный.

В Кимрах тогда пристани не было, милый простой дебаркадер у горсада стоял. Первую ночь спал я прямо на земле, в саду, голову положив на этюдник. Проснулся чуть свет, заря уже разгорается, уже золотые полосы потянулись по небу, женщина листья с дорожки сметает в овраг. О, говорит, сынок, матросов на речные суда набирают не здесь, плыви в Светлый Уголок, двадцать километров вниз по течению. Я и не слышал никогда, что есть такой Светлый Уголок, почти, как у загорского поэта. Поплыл на катере дальше.

За Кимрами берега крутые. Объявил кто-то из пассажиров вслух: «В этом месте Катерина из «Грозы» в воду кинулась», и все стали смотреть. У деревни высоко над рекой кладбище. Под гигантскою березой батюшка в ризе кадил. Риза ярко на солнце блестела.

Светлый Уголок я полюбил с первого взгляда. Иван-чай кругом, милые розовые цветы. С ходу нашел на песке у церкви крестик старинный. Снизу у него лучи, как хвостик ласточки. Увидел, как летят за Волгу сороки, и стали они мне родными. Крестьянский уклад, такая во всем простота! Старики в галифе, в картузах отдыхали от прожитой жизни.

Дул ветер с Волги. С Волги ветер всегда. Чайки, бакены, ивы. Запах просмоленных барж. Сорок верст всего до Калязина. До белой церкви у Белеутова, где я искал свою мать. Можно наш остров найти, где мы сено косили с отцом, голые, как дети природы.

Оказалось, команды набраны в апреле, а сейчас шел июнь, шестой день, и, увы, ушли в навигацию. Опоздал! Вот он, SOS! Крушение планов! Отец весь горечью обольется, дядя Женя и дядя Толя подумают: «Не по зубам ЖУ оказалось Сивке, что с него спрашивать». А Коля-то в Академии Генштаба!

Что же, в депо опять возвращаться? Я по берегу без всякой цели бродил. Солнце уже садилось, в оврагах клубились пары. Очень этюдник меня смущал, женщины, что конопатили баржи на берегу, на него поглядывали. В ржавый катерок я его спрятал.

У дебаркадера под ивами стоял домик старинный. Мимо него я в сотый раз проходил. Нагляделся на меня и выкатился оттуда высокий хозяин. Тонкая шейка, кудрявые волосы, он как цветок полевой, так же покачивался на ветру. Он декламировал:

Брось посох, путник утомленный,
Тебе не надобно двора,
Здесь твой ночлег уединенный!
Здесь отдохнешь ты до утра.

Я же знал, что у нас художественная страна, вон опять поэт повстречался. Но это был не поэт, а внук церковного старосты, Коля-сапожник. Мы с ним сразу в буфет на дебаркадер пошли.

В домике под ивами жил он с матерью вдвоем. С ума сходил по вину, нервы расстроены, как рояль в детском доме. Чуть что – скандал, начинал кидаться поленьями. Что делил с хворой старухой? Ее уж минуты все были сочтены. Но сапожки щегольские скрипели, веяло от него «Шипром», он его пил иногда, женщины за красоту его безумно любили. Три или четыре жены в разных городах СССР жили.

Он меня поселил на чердаке. Я и не обижался, я бы всю жизнь с птицами на чердаке прожил. В доме иконы, лампы, бабушка ропщет, а я высоко под облаками, будто лечу над рекой. Плеск волны и то слышен. Николай и сам потом коечку приладил в углу и всегда, как царевны, спал, без подушки.

Из чердачного оконца видно все: как заря разгорается, туманы из леса текут, открывается магазин. Я туда за плодово-ягодным вином бегал. Ох, и легкий я был на ногу, скороходом мог бы служить. Коля тогда только пил, есть он почти разучился, хлеб жевал иногда, вот и пришлось мне подкармливать его мать, на меня старушка молилась.

До осени на чердаке под ивами обитал. Приняли потом кочегаром в геенну огненную, в энергоблок, свет Светлому Уголку давать. Тяжелая эта работа, грязная, невыносимая. Все от нее уклонялись. Мне на медосмотре девушка в белом халате сказала: «Куда же вы, с тонкими пальцами, в кочегары?»

Конечно, вдвоем в гигантском котле восемнадцать атмосфер держать – не вмоготу. Богатырь Илья Муромец бы свалился. Восемь тонн угля перекидаешь за смену. И не просто кидаешь, а сеешь, как сеятель, ровно по колосникам для равномерного горения. Летом и зимой окна выбиты, но серный смрад густой, как в аду, потому что уголь подмосковный плохой, сернистый, в нем золы сорок пять процентов, не горит, а спекается, его кочергой постоянно шевелить надо. А кочерга какая? Три с половиной метра! Весь день орудуешь кочергой тяжелой, все потом вываливается из рук! В горле першит, из глаз слезы.

Из Кузбасса, Донбасса есть уголь другой, антрацит с бронзовым отливом, мелкий и жирный. Он пламя маленькое, голубое дает, а нам все гнали тверской да подмосковный, которому 3500 лет, в эпоху неолита закладывался. Чуть зазеваешься, моторист кричит, что давление падает... Кошмар! «Товарищ, я вахту не в силах стоять, сказал кочегар кочегару...» Мало отражен в песнях этот невыносимый труд.

На что я был сильный, в начале смены вокруг котла на руках ходил, сменщик просил: «Походи, походи на руках», а после смены падал. Качаясь с вахты идешь. Долго в котельной не задерживались, на кладбище увозили года через два в «березки». В Светлом Уголке кладбище в березках, красивое. Один только товарищ, флотский человек, по кличке Босс, до пенсии доработал. Босс один такой, уникал. В топку чистить колосники или чинить поломки он один лазил. Минут пять-шесть выдержать мог. Воду, конечно, на него лили, телогрейки набрасывали, одни глаза у Босса сверкали.

Завод судоремонтный, на который я поступил, на кладбище старинном воздвигли, буквально на костях. Мне Коля-сапожник рассказывал, их семья в Светлом Уголке исстари, века мимо домика их протекли, видел, как выкопали останки экскаватором, на баржах увезли. Черепа XVIII века ногами отпихивали. Мать его, старушка, сразу сказала, что пользы никому от завода не будет. Коля тогда же наблюдение вывел, что зубы все целы у черепов, превосходные зубы XVIII века. Все с вопросами ко мне подступал, что я думаю о таком феномене. Понастроили, говорит, амбулаторий, а зубов – нет, кого ни коснись, кроме цыган, конечно. У них золотые зубы у всех.

Зубы и волосы гнетут теперь душу, а тогда эта тема не интересовала – тридцать два жемчуга были.

Может, правильно считали меня чудаком, жаждал сильных чувств с детства, как в оперетте, пойте, плачьте скрипки, но любви не вышло большой, вышла Нюра лишняя, почестно, в биографии. Говорить неохота, может, медицинский казус какой, я вполне нормальный мужик, а тогда был парень повышенной чувствительности, но трезвый ничего не могу. Кладбищ не боюсь, смерти и темноты не боюсь, а женщин боюсь смертельно! Страшное дело! Как подойти, вдруг обидятся, заплачут? Нет, не могу! Сколько я возможностей упустил! Не я один застенчивость проклинал. Что-то подобное у Маяковского было. Вон какой агитатор, трибун, и то прямо не говорил «про это». Тоже стеснялся. Такого мужика в бараний рог ведьмочка Лиля Брик скрутила!

А Нюра – хорошая, сама подошла, пригласила, вина припасла. Спаси ее, Господи! Мне уже двадцать один год был, а Нюре всего тридцать четыре. Всю дорогу гордилась, что моя первая подруга она. Нюра простая, еще проще меня. Баржи, беляны, гусяны на берегу конопатила. Класа два или три, может, кончила. А добрая какая, если кто в гости придет, ничего спрятать не умеет, все последнее подает. А тоже сидела за кусок хлеба, в войну кусок хлеба где-то украла. Сына-сынулю там нагуляла, Станислава. Я не спрашивал, кто его отец, я же не прокурор. Имя модное, польское ему дала, к красоте люди тянулись. В Светлом Уголке ее Царь-баба звали. Почему Царь-баба? Ничего царского я не находил, правда крупная, полукустодиевская, веселая, румяная, но разбалансированное все лицо, особенно при дневном свете. Жили со Стаськом в тюремном бараке, тюремщики его строили. Коридор метров 200, по 18 комнат с каждой стороны. После лагерей эти бараки остались. Я жениться не думал, просто дружили, как здесь говорят. Но потом горе случилось... Нюра тетку приезжую пустила переночевать, а та ее обокрала.

Нюра плачет безумно, родных никого, бедненькая, один шкаф у нее, шарабан его называли, а тут пропали облигации, штапельный отрез, галоши и валенки. А я взял и перешел к ней жить, женился. С детства я жалостливый, даже Стаську усыновил, хоть в поссовете как на больного на меня посмотрели, разница в годах десять лет. В тюремном бараке стал жить. Нюра у меня прям расцвела.

Я за любую работу брался. Красил всем крыши, байковые одеяла в ковры персидские превращал. Они и сейчас кое у кого в Светлом Уголке сохранились. Один олень на тоненьких ножках пьет воду из озера, второй на копытцах трубит. Как Пиросмани, ей-богу! Тянулся народ к красоте! Я и дальше пошел, на одних коврах не остановился, из простыней скатерти делал! По краям вишенки, цветы, листочек зеленый, на листке бlichок. Прелесть! А в центре скатерти – виноград на блюде. Представьте, в глуши, в Светлом Уголке стол, картофель в мундире, вокруг едоки, у каждого кусочек черного хлеба, стакан, а на скатерти посреди – виноград на блюде! Каково! Настоящий виноград мы после войны двадцать лет спустя увидели.

Я отливал даже кошечки-копилки из гипса. Мне стоматолог местный четыре килограмма гипса подарил. Если для отливки форма есть, большого ума не надо. Человек использует ума всего на шесть или десять процентов, мнения ученых здесь разделились. А я сам все сообразил. Отольешь в форму гипс, он застынет и сперва красишь кошку белой масляной краской, а потом закопченной резиновой галошей раскрашиваешь. Зажигашь галошу, вьется дым, получаются волшебные узоры, а сверху лаком. Буквально дымчатые кошечки выходят, с бантиками, глазастенькие, дырочка на спине. Нарасхват шли! Денег не было ни у кого, а копилки-кошечки были. Как признак богатства. А галоши мы из автомобильных шин клеили. Я и сейчас смогу, коли нужда заставит, кошечку создать, коврик, и галоши из шин skleю. По натуре-то я работага!

Но рисование для меня, конечно, ни с чем не сравнится! Я окрестности Светлого Уголка все перерисовал, изучил. В глушь от людей уходил подальше, в усадьбу Малышково.

Более всего она меня привлекала. Место старинное, три помещика раньше жили. Историка Костомарова родня, спиртозаводчик Зызыкин и третий еще, забыл, как и звать-то его.

Там в усадьбе редкие сорта деревьев сохранились, пруд, круглый остров для чаепития. Брошено все давно, заросло, церковь в руинах, памятники. Гигантские березы на месте конюшен, филин в дупле много лет жил. Там моя лаборатория творческая была, то есть ходил я туда рисовать. Яблок в карман наберу, хлеба, весь лугами пропахну! Я еще нарочно в кусты высоченные в глушь заберусь, чтобы не видел никто. Здесь народ простой, увидят и начинают: «Что у тебя за ящик? А зачем рисовать? Делать тебе нечего! Ты ведь кочегар, не художник!» Ну что я им объясню? Рисовать – это счастье! Такое Бог, наверное, испытывал, когда мир создавал...

Этюдничек у меня маленький, краски немного уходило. Рисовал закат, реку или деревья встреч солнца. Маленькие картинки, с ладонь, я их все до единой помню. Они как огонечки горели.

Я потом огляделся в поселке – тюрьма, тюрьма... километр сто первый... У всех тюрьма. Реки и леса великолепны, но народ весь свирепый. Дарвин Чарльз, по-видимому прав: жизнь – это борьба. Кто за ножик сидел, кто за хулиганку. Одних убийц в поселке человек пятнадцать, а воров, их не сосчитать – их сотни. С четырьмя убийцами мы почти друзья, ну в очень хороших отношениях. Сын у Фени-удмуртки, например, из себя видный. А она какая хорошенькая, лучше японочки. Был у меня с ней грех раза три. Парень нормальный, спокойный, резал по дереву, вдруг почтальоншу ударил доской по голове. Тело на тачке отвез, в Хотчу кинул. Или она его довела, или же бес попутал. Восемь лет отсидел. Друг мой Удод, волжский человек, настоящий, мать почти в армию проводила, столы тесовые собрала, перекрестилась, но на роду написано, в темя ударил товарища! Открутился под следствием, вот повезло, самооборона, мол, самбо. Рано утром заря разгорается, только ко мне Удод опохмелиться идет, к другу. Или Валерка, утонченный мужик, ничего я в нем зловещего не видел, у отца орден Красного Знамени, саданул в Петербурге кого-то ножом, отсидел, и вся жизнь насмарку, не поднялся! Доски пилил на пилораме. Я с ним не раз говорил, он Малевича знает, Кандинского! Это же чудо! Я-то их сам не знал. Да, из кочегарки Босс, далеко не надо ходить, тоже убийца. Кто-то ночью фонариком ему в лицо посветил, кто, мол, идет? И каюк, нет человека!

И все вино! Выпьют на рубль, сразу скандал, всех задирают, кричат. Вот окружи отца, дядю Женю, дядю Колю вином с пивом, бутылками с шампанским открытыми, они пить не будут, не закричат. И птицы не пьют. С остальными убийцами я здоровался только.

Из воров самый чудесный Новиков Ермолай, восемь раз он сидел, но такой чисто-плотный до крайности. Форму полковника железнодорожных войск всегда покупал в Военторге, как ревизор в поездах ездил, а попутно крадет что-нибудь. Зонтиков женских целый вагон похитил, сумочек, кошельков и бутылок. В поездах верили, едет большой начальник. Пузатый, солидный, сзади волосики седенькие вились. Милые, милые кудри, прям у него за ушами. Паспортов да книжек трудовых штук по семь у него бывало. Обалдели все в Светлом Уголке, когда он в военизированной пожарной охране устроился. Нет, не сторожем, начальником! Рядом совсем в Калязине, знать бы должны рецидивиста. Не завязал, нет, не воровать он не мог! Подчистую бензин сливал из пожарных машин. На пожарах в свою пользу орудовал. Как-то заявился, рукава засучил, я со стула чуть не упал, руки в часах по локоть! Штук по шесть на каждой руке, наверное, было. Неугомонный, где б не видал, кидался ко мне со всех ног, чтоб я вином его угощал. Ермолай называл меня земля, земляком считал, потому что в первый раз его осудили в Калязине. В лагерях он с ходу стихи начинал писать, заявления слал по инстанциям, славил КПСС, Сталина, строю, мол, коммунизм, сил не щажу, понял все и на волю просился. Помогало ему. Я удивлялся, неужели сам написал? Тут уж он

психовал: «У меня дед шляпочный фабрикант! Новиков и сын! Не слышал? Да я по школе – круглый отличник!» Вот индивидуум.

А еще человек был, Тапилин. Он давно погиб в лагерях. У того любимый был номер от стакана стекло откусить. Пьет вино и стаканом закусывает, хрустит. Многие эти стаканы, как сувениры, хранили. Он говорил, ерунда, горло любое перегрызу! Глаз у него кривой или выбитый, зубы железные, сам истощенный, прокуренный, ну как из гроба восстал. Родственники на порог его не пускали. Он и устроил дачу, выгнал собаку из конуры, расширил, старыми одеялами утеплил и зажил в ней. Так и называлась – «Тапилина дача», чтобы не перепутать, на Волге еще дача адмирала Горшкова была. Через дыру нужно вползать к Тапилину. Пьяному ползать удобней немного, вот он и ползал всегда. Пьяные все к нему заползали. У него отопление проведено, обогревался, как куры зимой, электрической лампочкой. Все от него шарахались – зверь! Будто бы собаку не выгнал, а съел, непредсказуем, в ребра «перо» ни с того ни с сего может воткнуть. А я видел, он на улице белую кошечку гладил. Вот вам и зверь! Тронула сильно его доброта!

Что у меня за натура! Сам не понимаю. К личностям странным постоянно влекло. Я ведь в цыганский табор даже прибил. Думал, раз есть цыганский барон, нравы, как в оперетте.

Пурик у них – цыганский барон, полный, порывистый, внешность эффектная, на певца Магомаева очень похож. Волосы черные, как у отца моего, правда, не вьются, а гладко лежат. Я брюнетом тоже был прежде. В белых бурках, планшет на ремне, летчик Чкалов, ей-богу. Видно сразу – не простой человек! Да и мать у него не простая, двухметровая, как медведь, юбки на ней из парчи, сборки кругом из гипюра, тысяча сборок, не меньше. Я тогда сразу постиг – тайная дочь генерала, а может царя, как в поселке болтали.

Бедной Нюре вовек не видать, что за чистота у них в доме. Как потолок, пол белый. И сервиз на столе с королями и императорами. Вилки серебряных целый мешок. Самовар старинный начищенный, образа, перед ними лампадки горят, и у каждого одеяло ватное, да нет, не ватное, пуховое, конечно, не лоскутное, как у Нюры, атласное, и любят, как правило, атласный цвет. Посадили меня возле блюда серебряного, а на нем рагу из барашка, аромат от рагу до самого потолка! Как хорошо в гостях у барона!

Я сначала думал, они свобододобивые, только в шатрах, как Пушкин писал. Оказалось, у Пурика под Малоярославцем новый дом куплен, а сюда он приезжал брата и мать-медведиху навещать. Слушались его с полуслова, красноречиво раз цыгану провинившемуся сказал: «Ты не везешь, ты – ржешь!» Лошадей в Светлом Уголке все цыгане держали и лексика у них какая-то конская. Старики и кони в ранг святыни возведены. И у Пурика конь огромный – владимирский битюг. Хорошо я коня баронского помню. Паровоз! Пурик про коня говорил: «Этот конь двадцать сотен стоит!» Все на сотни цыгане считали, исчисления у них система такая – сотнями.

А потом беда у Пурика вышла, дом под Малоярославцем сгорел! В доме любимый медведь погиб на цепи. Пурик так горевал по медведю, плакал, скорбел, будто бы у него жена умерла, а про дом и не вспомнил, плюнул. Что же, жен у него шесть или семь, а медведь у него единственный!

Ох, меня цыгане любили, я ведь темненький, с усиками, может, во мне цыганская кровь, ну одна хоть кровинка? Как художника уважали, а почестно, прям впились в меня. Я им всем рисовал с фотографий цыган их умерших или кто в тюрьму попадал. И всегда на коне в яблоках, обязательно. Так заказывали, чтобы конь прямо свечкой стоял, как на конном портрете князя Юсупова. Ни в одном цирке такого не встретишь! Целый табор цыган я написал!

В каменных домах они жить не могут. Летом табор в кибитках, в палатках наподобие шатров. Свежий воздух им нужен, хоть и курят от малюток до столетних старух. Двери у

них всегда настезь, входи! Лошади и собаки в дом заходят свободно. Корок хлебных груды, но это для виду бедности. Еды много. На кострах утки и куры краденые варятся в казанах. Детишки веселые, жиром все облиты, в карманах леденцы, шоколадки!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.